**Наталья Сухинина**

**«Время собирания смокв»**

       Пили. Показалось мало. И тогда он вспомнил про материно обручальное кольцо. Она как-то обмолвилась: „Отдам ювелиру, крестик получится, тебе от меня – память“.

       Жди меня здесь, – приказал собутыльнице. – Я сейчас...

      Хорошо загрузились. Кольцо толкнули удачно, быстро подвернулась бойкая покупательница, смекнула, что к чему, раздумывать не стала, быстренько отсчитала купюры и скрылась. Ещё бы, почти задаром широкое золотое кольцо, повезло. А им-то как повезло! Не только на выпивку, на хорошую закуску хватит, и назавтра – опохмелиться. Он привёл свою "зазнобу" в пустую квартиру друга (договорились) и стал быстро вспарывать консервные банки, расставлять на столе снедь, по центру – успевшую запотеть в холодильнике бутылку приличной водки – может позволить себе, раз деньги есть. Пили, закусывали, потом спали, устав от поспешных пьяных ласк, в обнимку на старой продырявленной софе, потом открыли вторую бутылку. Девушка жадно ела бутерброды с колбасой, он смотрел на неё и вдруг почувствовал подступающую ненависть. Знал: с ним бывает такое от долгой выпивки. Сначала кураж, потом короткое тупое довольство, потом пустота, а из неё, из пустоты этой, накатывалась, накатывалась, как из чёрного длинного туннеля стремительно мчащийся локомотив –парализующая сознание ненависть. Притащилась за стакан, переспала за стакан, а строит из себя... После первой Ахматову читала, строила из себя, а сама за стакан...

       От ненависти почернело в глазах, и он поспешно протянул руку к бутылке. И вдруг девушка сказала ему:

       – А знаешь, мне кажется, я скоро умру...

       Он зло засмеялся:

       – Приснилось?

       Она тоже потянулась к бутылке и он ударил её по руке.

       Девушка ойкнула.

       –  Больно?! Больно тебе, стерва? Сейчас ещё больнее будет.

       Он выдернул из старого, валявшегося на софе, халата поясок и набросил его на шею девушки. Та как-то заторможенно посмотрела на него, будто и не испугалась. Он слегка затянул пояс, решил попугать, пусть знает, как за стакан идти с мужиком „на хату“, пусть на всю жизнь запомнит. Он ругался, он обзывал её самыми погаными словами и затягивал пояс. Голова девушки моталась из стороны в сторону, она не вырывалась, а только закрывала глаза, как от удара. Он почувствовал – обмякла. А через минутку она вдруг открыла глаза и прошептала, что придёт Христос, обязательно придёт... Это было так неожиданно, что он отпрянул от неё в ужасе. Прошептала. И – умерла.

Животный страх переполнил его. Он то бегал по квартире, то тряс девушку, то открывал балконную дверь в минутном желании броситься вниз и поставить точку в неожиданно кошмарной истории. Долго сидел за раскуроченным столом с остатками снеди, потом встал, подошёл к телефону и набрал номер милиции.

       Ему дали восемь лет. Двадцатишестилетний Евгений Котов был осуждён на отбывание срока в Архангельской области. Девушку похоронили. Родители её переехали из Ясенева неизвестно куда, подальше от этого страшного дома, подальше от воспоминаний. И начались его севера.

Природой Женя Котов обижен не был. Рослый, широкоплечий, про таких говорят – могучий. Умён. Образования, правда, не получил, всё недосуг было за выпивкой, но язык хорошо подвешен. Умеет пришпилить словом, размазать по стенке, дар красноречия и могучий кулак не раз выручали его в жизненных катаклизмах.

       А уж как пригодились эти качества в тюрьме. Он в момент обломал "наехавшую" было на него братву. Москвич, крутой, злой, сильный и независимый. Уже скоро его окружили заботой любители шестерить. И заключённый Котов стал лидером. А лидерство за колючей проволокой – это не только почёт. Лидерство – это и лучший кусок из присланной на „зону“ чужой посылки, это лучшее место в камере, это щадящий график работы. Многие втайне завидовали такой жизни, он её имел. Как тешил он свою гордыню, не оценённый по достоинству на воле и наверстывающий здесь, на севере, упущенное время. Поучал сокамерников, вершил суд над провинившимися, говорил последнее слово арбитра. Ничего жил, в общем. Враги были, но больше скрытые: кто полезет на рожон, кто сам себе враг? Но был и один враг явный. Небольшой начальник в „зоне“. Они ненавидели друг друга люто. Заключенный Котов своего врага за недосягаемость давно назревшего возмездия, а тот Котова – за независимость и гордость. Многие ползали перед ним и прогибались, а этот нет, этот насмерть стоял.

Котова за очередную провинность посадили в карцер – маленькое, три на три, стылое помещение с сырыми стенами, крошечным окошком и „парашей“ у двери. Днём лежаки убирались, и он сидел на грязной телогрейке, брошенной на каменный пол. От нечего делать стал читать. Ну и муть голубая этот тюремный „каталог“! „Честь“ Медынского, от которой тошнит, „Справочник по политэкономии“, какие-то поэтические переводы с японского. А это? „Основы православной катехизации“. Слово „катехизация“ показалось ему скучным, что-то из ряда электрификации, химизации, а вот „православной“ зацепилось. Бабушка говорила (он ребёнком был): „Запомни – ты, Женя, русский, а русские – православные“. И крестила его бабушка маленького совсем. Вот и мать крестик собиралась подарить...

       Он стал листать расклеившуюся, растерзанную книжонку. Выхватил взглядом строчку: „Христос пришёл в мир, чтобы „понести болезни“ людей“. Еще одну: „Человек не бывает совершенно безгрешен“. „Искренняя печаль из-за своих грехов и разрыва общения с Богом...“ И вдруг... Вдруг произошло то, чему он до сих пор не может дать полного объяснения. Вот как он сам рассказал мне об этом:

       Какая-то серая, тягучая пелена нависла над камерой. Она давила на сердце так, что стало трудно дышать. И в один момент я увидел всю мерзость своей жизни, и стало так страшно, как не было никогда. Казалось, даже малейший атом моего естества не имеет права существовать. Я не человек – я сплошной грех.

       Много раз на свободе я переживал отчаяние, резал себе вены, пытался выброситься с балкона, казалось, нет ничего страшнее отчаяния. Но то, что я испытал в ту минуту, было во сто раз страшнее. Наверное, это ад, подумал я. Хотя, что я знал об аде и рае, какие-то пустяшные детские сказочки...

       Он сидел на своей замызганной телогрейке и стонал. А серая тягучая пелена обволакивала, и казалось, это вечность спустилась в его карцер, чтобы никогда уже его не покидать. Он плакал, он скулил, как брошенный и всеми забытый пёс, он валялся у вонючей „параши“ и ощущал себя ничтожным комом грязи, частью этой „параши“. Он не был в карцере, он был там, где хуже, там, где совсем плохо, и нет никакой надежды на возвращение. И вдруг... Опять – вдруг.

       И вдруг – свет. Полоса света, откуда-то сверху, я не вижу ее, я ощущаю её, и вся моя сущность устремляется к этому свету, как к спасению. И я вижу стоящего во весь рост Христа. Да, да, я не вижу Его лика, но чувствую – это Он. Поймите, я не прочитал о Нём ни одной книги, я никогда не знал о Его существовании, но это был Он! Я бросился к Нему, стал обнимать Его колени. И почувствовал, как Его руки гладят меня по голове. Да, да это было реальное ощущение рук в пустой камере. Помню, я даже вздрогнул, так явно гладили меня эти руки. И пришло ко мне облегчение. Знаете, как нарыв прорвался, болел, болел, и всё – полегчало.

       Он сидел на телогрейке, и холодом сырых стен дышал пустой темный карцер. Где-то далеко лязгала дверь, что-то кричали, о чём-то спрашивали. А Бог-то, оказывается, есть... Он так сформулировал то, что произошло с ним. Он был в себе, ни жара, ни помрачения ума. Он – циник, „пахан“, убийца, конченый человек, сидел и повторял эти слова. Вслух? Наверное, вслух, не помнит. А Бог-то, оказывается, есть...

       Ну и что дальше? Началось прозрение, началась переоценка прожитой жизни? Нет. Он вскоре забыл о случившемся. Будто кто вычеркнул из памяти и то страдание, и тот избавляющий от страдания Свет, и лёгкое касание его бритой головы бережными, исцеляющими Руками.

       Опять Котов Евгений, заключённый, „зек“, „пахан“, вершил суд над слабыми, снисходил к подобострастию других, жировал от чужих „щедрот“.

       И опять залетел „по мелкому делу“ в карцер. На этот раз его злейший враг из начальников зло ухмыльнулся в дверной глазок:

       – Сдохнешь здесь!

       „Параша“ прогнила, и нечистоты сочились по полу, растекались к ногам зловонной лужей. Дышать было нечем. Евгений бросился к двери и стал колотить по ней своими здоровыми кулачищами:

       – Не имеете права! Я буду жаловаться.

       –  Сдохнешь здесь.

       Удаляющиеся шаги. До завтра сюда никто не придет, он хорошо знал распорядок.

       Заключённый Котов прислонился к стене, теперь .уже ничего не сделаешь, только Господь Бог может помочь. И как кольнуло – Господь Бог... Свет, ласковые Руки – он вспомнил всё очень отчётливо. И он позволил себе дерзость. Он стал торговаться с Господом, выставлять Ему свои условия. О, как безобразно было то первое обращение к Господу, каким жгучим стыдом до сих пор отзывается в сердце.

       –  И я стал просить. Если Ты есть, помоги! И я поверю в Тебя. Ты приходил ко мне? А, может, это был не Ты? Может, глюки пошли, может, крыша у меня поехала. А если Ты есть, что стоит Тебе помочь издыхающему у вонючей „параши“ зеку? Ты ведь всё можешь... Вот и помоги. В соседнем карцере у меня дружок сидит, Витёк, вот и сделай так, чтобы я попал к нему...

       Он присел на корточки, прислонился к стене и задремал. Только вдруг услышал шаги. Не должно быть, уже вечер. По голосу узнал высокое начальство, и другой голос – подобострастный, того самого, заклятого врага.

       –  Кто у нас здесь? – спросил начальник.

       –  Котов.

       И вдруг: нет-нет, он не ослышался:

       – Товарищ майор, может, переведём его отсюда, там „параша“ течёт, может переведём?

       – Ничего, пусть в этой посидит.

       Шаги удалились. Он опять задремал и опять проснулся от лязга двери. Что случилось? Лагерная дисциплина категорически запрещает открывать камеры ночью. За это можно жестоко поплатиться. Что случилось?

       – Давай собирайся, и быстро в соседний карцер, – на пороге стоял его давний обидчик. – И поторапливайся, некогда мне тут с тобой.

       Он шёл по коридору и шептал только одно слово: „Господи!“

       –  Ты как попал сюда? – бросился ему навстречу Витёк. – Я ничего не понимаю.

       –  Чудом, Витёк, чудом...

       Торг удался. Господь внял его, нет, не просьбе, требованию и даровал ему соседний карцер как избавление, даровал через великое чудо умягчения злого сердца заклятого врага. Как? Почему этот человек, презрев опасность, нарушил тюремный режим, почему приговор „сдохнешь здесь“ сменил на полную амнистию „собирайся живо“. Но тюремные будни заслонили и это чудесное событие. Вспоминал? Да. Но вспоминал с улыбкой, приговаривая: „Ну надо же...“

       И ещё было. Было много серьезных "поручений" Господу, и Он, Господь, "справлялся". Один раз накурился в камере, а делать это категорически запрещено, за это не просто журят, за это бьют. И – проверка. Евгений заметался, стал разгонять по камере густой табачный дым, бесполезно. И опять обратил очи к кусочку неба за решётчатым окном: „Помоги! Помоги, Господи!“ Он уже научился просить именно так, со вздохом, с полным упованием – помоги... Лязгнул замок уже в соседней камере, сейчас придут к нему. А его... пропускают. Идут в следующую.

      – Нет, нет, это не было случайностью. Обычно проверяют все камеры. Теперь я только могу удивляться и трепетать перед великой Божьей милостью. Ведь я же требовал, я испытывал Господа, а Он даже и этот мой грех стерпел. Понял я тогда, мы перед Ним как на ладони. Всё видит, в самое наше сердце зрит. Любит нас. И меня любит, получается, грязного, окаянного, подлого.

       Он о многом успел подумать, заключённый Евгений Котов. И когда уже совсем, окончательно сделал выбор, когда решил, что без Господа ему больше не жить, будто кто нашёптывать стал на ухо, да так убедительно, да так настырно: „Ты сейчас сам себе хозяин. А тебе ещё срок мотать пять лет. Как жить будешь? Ты ведь куски подъедать не привык. Всё потеряешь. А те, кто перед тобой сейчас гнутся, первыми тебя и обломят. Жил без Бога и проживёшь, зато в тепле и сытости. Подумай...“

       Он много думал. Он думал иногда до боли в висках. Казалось, мысли не вмещаются, ещё немного – разнесут его буйную голову на куски. Хорошо понимал, чем рискует. И хорошо понимал, ради чего рискует. Весы балансировали, иногда кренились в сторону сытого куска, иногда в сторону неизбежных страданий. Иногда замирали – поровну.

Он стал сторониться братвы и мало разговаривать, он стал неохотно объявлять приговор проштрафившимся сокамерникам. Он стал странным.

       – Есть притча о неплодной смоковнице. Помните? Я испугался. Секира при корне. Сколько можно ждать плода благодарного, не пришло время собирания смокв. Придёт ли? Неплодную смоковницу Господь проклял. Ведь дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, так написано, я читал, потом... А тогда я просто испугался, что быть мне неплодной смоковницей.

       Его ещё долго „ломало“. Он стал читать всякую, как он теперь говорит, духовную чепуху, помойку, щедрые сектантские подношения подкупающе доброжелательных "миссионеров". В „зоне“ не было Евангелия, но была куча разных сектантских брошюрок, и он глотал всё подряд, чувствуя, как переедает, как пища не усваивается, как тяжелеет от неё мозг и изнемогает плоть. Но он читал, больше нечего было.

       Он измучился от дум и сомнений. И опять дерзнул. Он не знал, что это и есть молитва: всем сердцем устремиться к Горнему и просить. „Я верю Тебе, Господи, но я запутался, у каждого своя правда, но ведь не бывает много правд. Прошу, дай мне знак, любой, лишь бы знать, что я Тобой услышан. Помоги!“ Ночью он проснулся. Зачем-то поднялся, тихонько вышел на улицу. И сразу понял – зачем. На чёрном небе, нависшем над низкими, распластавшимися по земле барачными постройками, сиял... Крест. Евгений зажмурил от страха глаза, потом, наоборот, впился в небо острыми зрачками. Крест. Большой, зелёно-жёлтый, очерченный на ночном небе сильными уверенными мазками. Знак. Знак Божьего вразумления и Божией милости. Крест видели многие: и солдаты на вышке, и некоторые страдающие от бессонницы заключённые. Подивились, пожали плечами. И только в одной душе в ту ночь сияющий над „зоной“ Крест спалил остатки сомнений, и уже ничего не было страшно.

       Бывает, промокнешь под дождём до нитки, места сухого нет. Вот и во мне не было сухого места. Только одно ощущение – русский. Ты же русский, Женька. Бабка твоя крестила тебя и умерла в надежде – внук крещёный, православный. Ты же в Москве живёшь, не в Сингапуре каком-нибудь. Святая Русь. Господи, какие высокие слова! Я и не знал их, я всё больше другими разговаривал. И вдруг четкое осознание себя православным, до нитки, сухого места нет. Святая Русь. И я в этой Святой Руси грешный, маленький, ничтожный. Но я частичка чего-то великого. Так я возликовал. Никогда не забуду: увидел муравья, ползущего по стене в камере, и чувствую – люблю того муравья. Да как люблю! Скажут, отдай за муравья жизнь – пожалуйста, какие проблемы!

       Богословы назвали бы его состояние призывающей благодатью. Всем приходящим к Богу оно знакомо. Первые шаги. Господь держит, не даёт упасть, и идти так легко и так безгранично счастливо. Это уже потом Он отпустит руки, и лёгкость уйдёт, нельзя же всё время за ручку.

       Евгений сделал выбор. А через день был объявлен сумасшедшим. Ему подсовывали наркотики, чтобы расслабился, его жалели, предлагали полежать в лазарете. А он сказал: нет. Тогда, как водится, заулюлюкали, пробовали травить, но, видимо, и здесь Господь держал Свою десницу над его головой. Не тронули. Отступились.

       Он гулял по продуваемому ветрами двору, когда к нему подошёл один из заключённых, улыбнулся:

       – Это ты сумасшедший?

       Заключённый оказался верующим, православным. Их стало уже двое. Они потихоньку от всех искали время для молитвы. Евгений молиться не умел, навыков просить не было, всё больше требовал, и – переучивался на ходу. Чем больше молился, тем страшнее казалась ему прежняя жизнь, живого места не находил в душе своей окаянной. Его пытались вернуть к „паханству“. Он сказал: нет. Появилась жалость к сокамерникам, самая обыкновенная человеческая жалость. Он жалел, что им незнакомо то, что успел понять он. Ту истину, давшуюся ему страданием и радостью, аналога которой не было в его прошлой буйной биографии. Он почувствовал перед ними вину. И – раскрутился! Вспомнил, как шёл напролом, взгреваемый „паханскими“ возможностями. Тогда его поддерживали и сами „зеки“, и начальство тюремное. Теперь он один. Нет, не один. С Господом.

       Написал заявление. Он православный, он хочет, как это... отправлять свои религиозные потребности, он знает о свободе совести и вероисповеданий. И он требует (!) предоставить ему возможность молиться. Подписались под этим "воззванием" ещё несколько человек, получилась бумага коллективная. И Евгению Котову „со товарищи“ выделили комнату. Вернее, часть комнаты:

Перегородите и молитесь. А за стенкой мы мусульман разместим.

       Ох, как не хотелось ему мусульманского соседства! И он за день сооружает крыльцо к будущей часовне и водружает над ней крест. Вход общий. Какой мусульманин войдёт теперь под этот крест?

       Он написал письмо в ближайший от их Тмутаракани храм, приехал батюшка и освятил их „православную твердыню“. Засел за письма. В редакции газет, в издательства, в храмы. Просил: пришлите православную литературу, здесь она нужна как воздух, сектанты присылают пачками свою дребедень, сами приезжают, беда прямо. Пришлите! Не ответил никто. Тогда он стал теребить мать, и она присылала ему вырезанные из журналов иконы. Он мастерил для них рамочки, олифил, красил. Задумал ремонт. Но это только сказать легко – ремонт. Окно побелить – деньги, гвоздей запасти – деньги. А денег у зека нет. И он опять пишет матери: „Костюм мой спортивный, новый, продай, и часы, и кроссовки тоже...“ Всё его состояние – в этой новенькой, отремонтированной, с иконками в справных рамочках, часовне.

       –  Нет-нет, не часовня это, так, молельная комната.        Ему дали отпуск. Он ждал его как спасения. Потому что главное в отпуске было для него – причаститься. Как на Голгофу шёл к священнику. Он много каялся и просил в своих молитвах, но вслух исповедовать грехи, вывернуться наизнанку – Господи, помоги мне, сумею ли, не слукавлю?

       Оказывается, из окон его московской квартиры видна церковь. Раньше не замечал. И какая церковь! Рядом кладбище, и они пацанами бегали сюда, пугали через забор прохожих, забавлялись. Потом забавы пошли покруче. Пили как-то, мало оказалось, а тут только Пасха отшумела, на могилках полно яиц, куличей и рюмочка водки то там, то тут. Пошли допивать. Он выпил много, а потом выдернул крест из какой-то могилы и, кривляясь, матерясь, вышел с крестом за кладбищенскую ограду. Ходил вокруг церкви, прикалывался.

       Сейчас храм апостолов Петра и Павла в Ясеневе как игрушечка. Сюда и пришёл он на исповедь. Исповедь – тайна. Мы не будем о ней с ним говорить. После Исповеди сказал священнику, что хочется ему съездить в Оптину Пустынь. А уже дома в журнале каком-то прочитал, что церковь, в которой он причастился – подворье Оптиной Пустыни.

       Вот ведь чудеса, говорил, что хочу в Оптину, а сам в ней в это время уже был!

       Через год он опять приехал в отпуск. Заработать его было непросто. Он заработал. Бросил курить после первого отпуска. Услышал, как одна женщина в храме сказала: „Курящего человека никогда благодать не посетит. Сигарета – кадило бесовское“. Как отрезало. А курил чуть ли не с детства, бросать не собирался. Иногда выпивает, правда. И очень себя потом корит.

       –  В гости зовут, когда в отпуске. А в гостях рюмочку да выпьешь. Искушение...

       Удивляюсь его православной лексике. Так говорят студенты семинарий или давно воцерковленные люди. Он цитирует святых отцов и знает толкование евангельских притч, он знает значение всех праздников и жития святых. Откуда?

       – Сам не знаю. Как-то открывает Господь потихонечку.

       Отпуск подходит к концу. Сидеть ему еще три года. Как хочется утешить его чем-то, и я приглашаю в ближайший выходной в Троице-Сергиеву Лавру. Он смущённо улыбается:

      – Нельзя мне. Зек я. Подписку дал о невыезде из Москвы.

       Он очень хочет в Оптину, и в Дивеево, и в Сергиев Посад, он хочет посетить святые источники и восстановленные монастыри. Он хочет много и серьёзно читать. Для своей тюремной часовни накупил кассет с песнопениями, молитвами, дешёвых икон, лампадок.

      – Мне иногда ребята жалуются: „Читаю Евангелие и ничего там не пойму“. Говорю: „Вы не понимаете, а бесы очень даже понимают“. Но не знаю я многого, меня старостой выбрали нашей часовни. Спрашивают, что и как, а я не знаю.

       Знает. Знает самое главное. Как тяжело многогрешной душе пробиться к Богу, вырваться из цепких бесовских объятий, глотнуть чистого воздуха и не опьянеть от него, устоять. Знает, как трудно даётся молитва и как велика её благодать и сила. Знает, какой болью горит неспокойная совесть и как затихает эта боль под омофором покаяния. А ещё знает, как любит всех нас Господь, даже самых пропащих, как он.

       К концу отпуск, – говорит он мне, – сколько всего хотел успеть, а пора возвращаться. Меня дело серьёзное ждёт. Ребята в „зоне“ креститься надумали.

       – Сколько их?

       – Сто пятьдесят человек.

       – Сколько?!

       –  Да, многовато, с этим и проблемы. У нас, правда, есть чаша для крещения. Большой котёл на кухне выпросили, списанный. Да батюшки поблизости нет. Надо приглашать, а не каждый поедет...

       Мы прощаемся. Хочу спросить, как он видит свою жизнь после освобождения, но не решаюсь, лезть в душу не хочется. А он будто мысли мои прочитал:

       – После „отсидки“ так решил. Благословит батюшка в монастырь, пойду в монастырь. Благословит в миру оставаться – останусь. На всё воля Божия.

       – Время быстро бежит, – успокаиваю я его, – не успеете оглянуться...

       – Да, недавно Великий Пост был, а уже Петровский.

       – Вы поститесь, Евгений?

     – А как же! Православному без поста никак нельзя. Но в тюрьме очень легко поститься. Дают, например, второе и хлеб. Ем хлеб.